

Петр Боборыкин

# Долго ли?



Петр Боборыкин

**Долго ли?**

«Public Domain»

1875

## **Боборыкин П. Д.**

Долго ли? / П. Д. Боборыкин — «Public Domain», 1875

Повесть, описывает положение русских литераторов-поденщиков в пореформенную эпоху. Дополнительный интерес придает беллетризованный "отчет" о похоронах известного русского критика и поэта Аполлона Григорьева (1822–1864).

© Боборыкин П. Д., 1875

© Public Domain, 1875

# Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

24

# Петр Дмитриевич Боборькин

## Долго ли?

### Повесть

#### I

Мягкой и липкой ватой сыплются клочья снега, и отвесно, и вбок, и покрывают побурелые от езды улицы новым рыхлым слоем. Сквозь замутившуюся мглу ночи бледно мигают фонари. Всякий звук заглушён и подавлен; чуть слышно ерзанье полозьев и топот пешеходов по тротуарам.

Плохие извозчичьи санишки завернули с Невского в один из переулков. Седок поднял воротник своей шубки и совсем скорчился, нахлобучив мерлушковую шапку. Вся его фигура представляла собою покатый ком чего-то черного, густо осыпанного снежной мокрой кашей. Извозчик был ему под пару. Перевязал он себе шею подобием шарфа и ушел в него вплоть до обтертого околыша шапки. Лошадь то и дело спотыкалась, плохо слушаясь кнута. Возница, больше для вида, стучал кнутом в передок саней и часто передергивал вожжами.

Тотчас за поворотом в переулок случился огромный ухаб. Седок ткнулся лбом в спину извозчика.

Тот передернул на деревенский лад плечами и окликнул седока:

– Держись, барин!.. Не даст Бог пути!.. что ты будешь делать!

– Правее забирай, старина, – отозвался седок из-под своего воротника. Голос его звучал глухо, но с таким оттенком добродушия, что извозчик про себя улыбнулся и уже как следует угостил свою "шведку" ударом кнута.

Подъехали сани к широкому крыльцу, обтянутому парусиной. Городовой похаживал и покрикивал; в глубине переулка, сквозь верченье снежной пурги, виднелся ряд каретных фонарей.

– Пятиалтынный тебе следует, дедушка, – сказал, слезая, седок, – ну, да уж погода-то больно скверна – вот тебе двугривенный.

– Спасибо, барин, – выговорил уныло извозчик, приподнимая как-то сзади свою шапочку.

– Пошел, пошел!.. Развесил уши-то! – крикнул городской и толкнул лошадь в оглоблю.

Седок в шубке, протирая глаза, поглядел на полицейского, отряхнул с себя снег и подумал: "Экой какой грозный: поди-ка, добейся его интонации!.. Сила!"

Все еще с приподнятым воротником, взялся он за ручку стеклянной двери. Споткнувшись немного о половик, лежавший между первой дверью, он опустил пониже голову, посмотрел прищурившись на пол и подумал: "Сколько я здесь времени не был и все то же – *na prop*<sup>1</sup>".

Последние два слова он так и выговорил про себя по-французски, с русским акцентом.

В гардеробной он разоблачился, да и шапку отдал швейцару. Раздевался он медленно, несколько как-то робко, и, по сдаче всего своего верхнего платья, две-три минуты отирал лицо платком, а потом вынул гребеночку и перед зеркалом пригладил волосы.

Вряд ли сделал он это из кокетства. Стоило оглядеть его хорошенько, чтобы убедиться в противном. Вся его фигура одета была в самую нефрантовскую суконную "пару", какие покупаются только в дешевых магазинах готового платья; воротничок рубашки, хоть и чистый, не отличался модностью. Шею перевязывал черный галстук, в мизинец ширины, из самых деше-

---

<sup>1</sup> нечисто (*фр.*).

веньких. Лицо его, еще молодое, с близорукими, очень приятными темными глазами, смотрело если не болезненно, то куда не нарядно. Серый цвет и неровности кожи, шершавая бородка, попросту причесанные длинные волосы – все это не заключало в себе и намека на франтовство. В губах, очень заметных сквозь редкие усы, сидел тихий юмор, мелькавший и в глазах, точно с недоумением переходивших от предмета к предмету.

Стал он подниматься по лестнице, к передней, очень тихо, не потому, чтобы он чего-нибудь робел, а потому, вероятно, что ничего его туда, наверх, особенно не манило. Он даже знал наперед, что проскучает за свои полтора рубля; и все-таки, по такой адской погоде, поехал в десятом часу за тем, чтоб проходить из одной залы в другую вплоть до полуночи, а то так и дальше. Не высидел он сегодня у себя, убежал от своего "очага". Хорошо еще, что можно было куда-нибудь деваться...

Вот он в одной из гостиных; публика переключивается через нее в большую залу, откуда уже слышен оркестр. Идут штатские разных сортов, шуршат шелковые платья, мелькают шиньоны. Пробежало два молоденьких офицера. Он смотрит на все это, прислонившись к зеркалу, поодаль. Думать ни о себе, ни о своем положении, ни даже о том, где находится – он не хочет. Ему нравится пока эта пестрота женских турнюр, хвостов, головок, профилей. Он успел только заметить, что в Петербурге, в сущности, гораздо больше хорошеньких и пикантных женщин, чем идет о том молва или, лучше сказать, чем он всегда воображал. А почему он так воображал? Ведь он не проникал и в одну десятую петербургских семейств?.. То, что ему казалось публикой, быть может, один случайный набор...

Дальше он не пошел в своих соображениях.

Его окликнули сбоку:

– Лука Иванович! Вас ли я вижу?

Обернулся он с мыслью: "И кому это припала охота со мной беседовать?"

Перед ним стояла женская фигура довольно странного вида. Она его, однако, не удивила: видно было, что он давно ее знает. Ростом с него, эта женщина или девушка поражала прежде всего очертаниями своей головы. Ей нравилось носить волосы взбитыми так, что трудно было бы даже отличить ее лицо от мужского, если б не темное женское платье, поверх которого она надела очень узкий и уже значительно потертый не то спенсер, не то казакин. Черты лица подходили к прическе: они были резки, хотя и мелки, особенно выдавались острый нос и подбородок. Этой особе могло быть от тридцати до сорока лет.

– И вы здесь? – спросил он, улыбнувшись, и протянул ей руку.

– Да, – вздохнула она, слегка выпятив губу. – Какая здесь тоска! И это – жизнь!.. Я не для себя...

– По обещанию, стало? – осведомился он и тотчас же подумал: "А ну, как ты вцепишься в меня – *мове*<sup>2</sup>".

Она довольно громко рассмеялась и показала желтые, крупные зубы. "Вцепится – и пойдет о чувствах!" – уже энергичнее подумал он.

Идти в залу он не захотел, вероятно, не желая сопровождать туда свою знакомую.

– Вы пойдете слушать? – спросила она с усмешкой некоторого пренебрежения.

– Да, право, не знаю, – говорил он и провел рукой по волосам.

– Оставайтесь тут, в этой гостиной, – уже мягче и с ударением выговорила она и указала ему на диван.

"Судьба", – вымолвил он про себя и поплелся за ней к большому дивану.

– Так вы не для себя? – шутиливо переспросил он свою собеседницу.

– Я с кухиной... Не знаю, зачем она меня всегда спрашивает? Но я рада, что встретила своего человека...

---

<sup>2</sup> Здесь: беда (*фр.*).

Переведя дух звонкой ногой, она, точно в упор, спросила:

– Много работаете?

– Где! – откликнулся он и махнул рукой. Собеседница приблизилась к нему и, кажется, хотела взять его за руку.

"Ну, и претерпевай!" – подумал он, уныло поглядев в сторону двери.

– Ах, я так бы хотела поговорить с вами... о моей вещи... но, знаете, поговорить по-товарищески... Есть разные детали... Я, как девушка, не могу еще овладеть настоящим колоритом... Вы меня понимаете?

Выходило как будто смешновато; но голос ее вздрагивал: слышно было, что нервы ее очень натянуты. Он боком взглянул на нее и серьезнее подумал: "В сиротстве находится, ну и взыскует".

– Мы мало очень видимся, Лука Иванович, – продолжала она, – но я вас давно знаю. Отнеситесь ко мне теплее... Вы не поверите, как трудно работать без всякого отклика.

– Да вы разве одни?

– Вы думаете: кухня моя? Полноте!..

Она не договорила. Он не стал и допрашивать. Они бы долго просидели так на диване, в полуинтимных и неопределенных разговорах, если б из уборной, справа, не вышла молодая женщина такой наружности и в таком эффектном туалете, что оба они разом повернулись к ней лицом – и смолкли.

## II

– Елена, это – ты? – окликнула она особу в странной прическе.

Он немного привстал. Не желая того, оглядел он ее всю очень быстро и, несмотря на свою близорукость, весьма отчетливо.

Ему не приводилось, в близком расстоянии от себя, видеть женщину с такой яркой, охватывающей внешностью: глаза, щеки, волосы, плечи, стан, руки, полуоткрытые до локтя, – все это обдавало горячей струей молодой, блистающей жизни. Он почувствовал на себе эту струю почти физически – и туалет заиграл перед ним своими переливами. Светло-лиловое платье, с кружевами и оборками, высокая фреза вокруг шеи, что-то такое вроде жилета, хитро выглядывающее из-под лифа. Точнее он не мог определить; но он и не желал дольше останавливаться на платье: лицо опять привлекло его.

– На минуту, – кивнула она кухне и, обративши к нему глаза, прибавила, – вы позволите?

Он сумел сделать какой-то жест головой, кажется, не совсем такой, как следовало, начал краснеть и отворачиваться вбок.

Собеседница его не совсем охотно поднялась, и они обе отошли к двери.

Дама в лиловом что-то весело и живо начала говорить вполголоса, а потом взяла за руку особу в странной прическе и повела ее в залу.

Оставшись один, он не встал, а вскочил с дивана и почти бросился в читальную комнату. Его ужаснула возможность возвращения собеседницы. В читальной он, однако ж, не остался. Его потянуло в большую залу.

Остановился он в дверях и начал искать мелькнувшую перед ним голову с русыми косами и с белой шеей, выходившей так стройно из-под фрезы. Не мог он не сознать того, что он действительно ищет глазами и эти косы, и эту шею. Там, на эстраде, какая-то певица что-то такое выделяла; а в его ушах все еще звучал несколько густой, ясный и горячий голос двух самых простых фраз.

Ничего он не рассмотрел. Виднелось много женских маковок и столько же шей, но светло-лиловое платье исчезло.

– Позвольте-с, – толкнул его дюжий армейский гусар, идя под руку с пухлой, набеленной барыней.

Он не обиделся, сообразив, что стоял на самом проходе. От двери перешел он в угол, поднялся на подножку, идущую вдоль стены, оглядел залу во всех направлениях – исчезло светло-лиловое платье. Пробираться вперед он не решился. Совсем не такая на нем была "пара", чтобы показывать себя у самой эстрады. Ощущение тревоги, вместе с едкой ноткой пронзительной петербургской скуки, начало засасывать его. Как-то по-детски представилось ему, что, если светло-лиловое платье совсем исчезло, то незачем ему и оставаться дольше тут, на этом клубном вечере.

"Стало быть, ищи", – как бы серьезно приказал он себе и побрел по другим комнатам. Первая половина концерта в зале кончилась, публика начала расплзаться. Он было мужественно пошел навстречу парам, идущим из залы, но образ его собеседницы опять смутил его. А ведь, наверное, придется встретить и ее.

Из того раздумья был один исход – столовая или лестница. В столовой ему нечего было делать: если б встретился хороший человек, он бы выпил с ним пива; а так, одному... Оставалась лестница.

Он уже достигал площадки, где отбирают билеты.

– Лука Иваныч!

Бежать нельзя было. Голос собеседницы он узнал.

– Вы уже домой?

– Домой, – ответил он совсем расклеенным тоном.

– Могу я вас просить на два слова, всего на два?

Она так жалобно это говорила, что ему сделалось почти совестно.

– К вашим услугам.

И опять он поплелся за ней к дивану гостиной.

– Вы мне так нужны, добрый Лука Иваныч, я теперь на самом критическом пункте моего замысла. Пожалуйста, пожертвуйте мне каких-нибудь два часа, даже меньше.

– Извольте, извольте, – отговаривался он и всем своим существом боялся в эту минуту одного: чтобы не подошла опять к ним кузина. – Когда же?

– Да как прикажете...

– Благодарю вас! – воскликнула она с положительной дрожью в голосе.

Он почувствовал, как она его схватила горячее и вздрагивающей рукой, рукой нервной девицы за тридцать.

– За что же-с?..

– Назначьте день и час... Ах, какая я! Я ведь и не сказала вам, где я живу... Вы помните, вы заходили как-то ко мне, на Фурштадской... помните?..

– Как же.

– Славное тогда было время!.. Кузина упросила меня... не знаю уж зачем... разве я могу быть для нее приятной?.. Я и переехала к ней. Но она меня не стесняет, у меня своя комната... Когда хотите – утром, вечером. Это в той же местности, на Захарьевской... Квартира мадам Патера.

– Как-с? – переспросил он.

– Это – фамилия ее... моей кузины... Госпожа Патера... а номер-то я вам и забыла сказать... номер двадцать шестой... Вы не забудете?

– Припомним.

– Фамилию трудно забыть: госпожа Патера. Приходите хоть завтра перед обедом, часа хоть в три, или вечером.

– Мне удобнее перед обедом.



– Она меня сейчас спрашивает: Елена, кто этот господин, с которым ты сидела на диване? Я называю вас. Вы извините... она так мало знакома с нашей интеллигенцией, что, кажется, имя ваше слышала в первый раз.

– Мудреного в этом ничего нет, – отозвался он с простой усмешкой, – не в таких чинах.

– Ах, полноте!.. Я вам только передаю наш разговор. Она мне вдруг говорит: хоть бы ты меня с кем-нибудь из *них* познакомила... Как вам нравится это – *из них*?

– Основательно.

– Вы все дурачитесь, Лука Иванович, а, право, обидно видеть...

– Ничего-с.

И он привстал с явственным намерением ретироваться. Им снова овладела малодушная боязнь, как бы их не застала "кузина" и не потребовала его самого к ответу.

Он протянул руку энергичным движением и торопливо сказал:

– Явлюсь на днях.

Не успел он переступить порога читальной, как из дверей в залу показалось светло-лиловое платье.

За дверью он остановился и еще раз долго и сосредоточенно оглядывал все: и волнистый шлейф, и стан, и шею, и русые косы, перевязанные лентой пониже прозрачных ушей.

### III

Усиленно думать начал он, только очутившись опять в санях, под полостью и шапкой.

– В какой проулок-то, барин? – переспросил его извозчик, в котором он узнал "дедушку", доставившего его к клубу.

– В Ковенский переулок, старина.

– Машкарат нешто здесь седни?

– Вечер, – ответил он, закрывшись с обеих сторон воротником.

– А намедни, под понедельник пришлось, в Каменном театре машкарад был. То-то сраму я насмотрелся!.. Посадил я барина в енотовой шубе и барыню в богатом салопе, лицо-то у ней черной тряпицей обвязано. Везу я их – "в Биржевую" приказали. Ладно. Доставил. Подожди, говорит мне барин, с полчаса...

Под отрывистую болтовню извозчика седок продолжал свою думу... Ему куда как не хотелось домой; но больше некуда было деваться. Эта встреча в клубе как-то особенно его раздражила. Приехал он туда, переполненный всей преснотой, всей тяжестью своего житья, и точно будто кто поднес к его губам один благоуханный край дорогой чаши, поднес и отнял. А в душе оставил горький до боли осадок.

"Ну, вот и дожил почти до сорока лет, – перебирал он про себя, – здоровья нет, молодость ушла, продежурил здесь бессменно, не выезжая из Литейной части дальше второго Парголова, ни разу даже не мог до какого-нибудь Киссингена доехать; а уж, кажется, могу похвастаться катаром"...

Он вдруг остановил нить своих сетований. Их тон выходил, помимо его желания, такой водевильный, такой добродушно-ворчливый, а ведь на душе у него было гораздо тоскливее и тяжелее. Что же делать? Не выходило иначе; вряд ли бы вышло иначе, если б он собрался и совсем уйти из той серой и пресной сутолоки, которую все вокруг него звали "жизнью".

– Только, братец ты мой, – продолжал старичок извозчик, давно уже рассказывавший свою маскарадную историю, – как выскочит оттуда барин-то и тащит за собой другую, ростом пониже и в шубейке такой куцой, и лицо без тряпицы, на вид смазливая. Этак, кричит, ты прокуратишь, бесстыжие твои глаза?! А она ему в ноту, куражу не теряет: ты-то чем же лучше меня, говорит, коли ты из машкарата от живой жены мамзелей возишь, так и я вольна, с кем хочу, потешаться!! Срамота! Мне спервоначалу и невдомек: что-де такое у них приключи-

лось?.. А потом и догадался я, что барин-то, седок-от мой, муж ейный, в коридоре, в номерах, надоть так думать, и повстречал жену... А она, выходит, точно таким же манером из машкарата – шасть с мусьяком каким... Все это, милый барин, видимши, со стыдобушки вчуже умер, ей-и-богу; а немало годов на свете треплюсь – седьмой десяток пошел.

Восклицание возницы заставило седока поднять голову. Он смутно понял содержание его рассказа и спросил добродушно болтливого старичка:

– Хорош городок Питер?

– Что и говорить! – откликнулся тот высокой нотой и махнул правой рукой.

"Срамота!" – повторил про себя седок крестьянским звуком: "срамота тут и там, и вне себя, и в себе!"

– Стой! – порывисто остановил он извозчика. – Проехали ворота!

Тяжело спустил он ноги в больших теплых "бахилах" (так он звал свои зимние калоши) на рыхлый снег, неловко вынул портмоне, расплатился, кивнул головой дежурному дворнику, завернутому в нагольный тулуп, и скрылся в дверку запертых ворот. Его бахилы зашмыгали по скользкому, нечистому двору, ничем не освещенному на всем своем протяжении. За вторыми воротами, справа, виднелось крылечко с крутыми ступеньками и навесом на тонких железных прутьях. Жилец взобрался на крылечко и начал подниматься по совершенно темной и узкой лестнице, с запахом стоялой воды, капусты и помоев.

На площадке третьего этажа он позвонил. Нескоро ему отперли, но он не стал нетерпеливо дергать за ручку колокольчика; он только переминался немного, отворачивал воротник шубки и снимал полегоньку с шеи свой шерстяной шарф.

Минуты через три послышались за дверью шаги и отмыкание дверного крюка, а потом хмурый и сонный женский голос:

– Кто тут?

– Да я же, Татьяна, отопри, пожалуйста, – уже несколько нетерпеливее откликнулся хозяин квартиры.

Не тотчас все-таки отворилась дверь – крюк туго поддавался, – и Татьяна, раза два выбравшись, впустила, наконец, барина.

– Анна Каранатовна спит? – спросил он кухарку, проталкиваясь между нею и половинкой двери и ощупью проходя чрез узкую прихожую, с воздухом кухни, которая помещалась тут же, за стеклянной перегородкой.

– Нет, еще не спит, кажется, – промычала Татьяна с сильным сапом, – да, никак, и гости у них... Шубу-то, пожалуйста, я сыму, Лука Иваныч.

Лука Иванович дал стащить с себя свою незатейливую шубку на кротовых "спинках", как он называл ее мех, и снял бахилы, держась за косяк двери, ведущей в его рабочую комнату. А с левой стороны светилась внизу щель вдоль другой двери, и оттуда доносился не то разговор, не то чье-то монотонное, Точно дьячковское, чтение. Оно вдруг прекратилось на несколько секунд, но потом опять пошло гудеть. Голос был явственно – мужской.

– Огня вам, что ли? – все так же хмуро спрашивала Татьяна: – Так я там зажгу свечку, пожалуйста.

– Не надо, у меня есть спички...

– Да который час будет? – осведомилась Татьяна и зевнула с каким-то завываньем. – Чтой-то барышня как засиделись... Вам бумаги принес Иван Мартыныч, да вот и сидит все, книжку, что ли, читают... Чай уж, поди, двенадцать в исходе?..

– Около того, – отозвался Лука Иваныч, отворяя дверь в свою комнату.

– Ну, так я пойду скажу им... ровно не слышат, что звон был.

Весь этот разговор происходил в темноте. Татьяна двинулась, почесываясь, к двери, откуда виднелся свет, а Лука Иванович вошел было к себе, но остановился и окликнул ее:

– Татьяна!

– Чего вам?

– Настеньку давно уложили?

– Не знаю я; должно быть, давно; я с самого вашего ухода прикурнула, только барышне солонинки с хренком подала, часу, что ли, в десятом; так дите уж не кудахтало: надо быть, уложили ее.

– Хорошо, – тихо заметил Лука Иванович и затворил за собой дверь.

Тусклый стеариновый огарок осветил немного узкую, об одно окно, комнату такую как раз, какая отводится в дешевых петербургских квартирах под "кабинет". В глубине, на клеенчатом диване, постлана была постель совершенно холостого вида, с серым фланелевым одеялом и сафьянной подушкой. Стены были тоже серенькие, в пятнах; на окне одна стора, без гардины, стол, под орех, с Апраксина, завален ворохом ненужной бумажной трухи, с кой-какими замшаренными "письменными принадлежностями". На окне и на ломберном столике валялись книги. В углу примостился невзрачный шкафчик, тоже с книгами. На стенах ни одной картинки. В комнате стоял запах папиросного табаку и сырости.

Обладатель ее уныло оглядел и стол, и постель, и, не раздеваясь, закурил папиросу. Сделал он несколько шагов между письменным столом и дверью, но тотчас же сел в сломанное кресло и стал усиленно дымить, точно собираясь кого-нибудь слушать или рассказывать.

#### IV

Дверь скрипнула, и боком вошел в комнату черноватый, курчавый малый, лет под тридцать, в мундире военного писаря.

– Это вы, Мартыныч? – встретил его Лука Иванович.

– Так точно-с, – ответил писарь, приторно улыбнувшись, и сейчас же взялся правой рукой за обшлаг, повыше второй пуговицы снизу.

– Вы меня дожидались? Разве это к спеху? Переписали?..

– Так точно-с, – повторил с той же интонацией Мартыныч и встряхнул волосами, которые у него на тупее завивались в спираль.

– Да вы бы оставили здесь!

– Я и оставил-с... Анна Каранатовна тут вот на столе положили... Вон около шандала-с сверток... А потому собственно, как генерал Крафт приказали побывать у вас и самолично передать.

– Что такое? – лениво спросил Лука Иванович.

Писарь отошел шага на два от двери и выставил вперед правую ногу в форменных панталонах с кантом.

– Они приказали доложить, что, как собственно, теперь в типографии работы мало, так надо бы, то есть, поспешить с оригиналами-с.

– Это насчет моего оригинала?

– Так точно-с.

– Да ведь я, кажется, не задерживаю работы. Вот ведь и вам надо время переписать...

– Оно, конечно-с; генерал так больше, я полагаю, из аккуратности... немецкого рода они, ну, и во всем у них порядок.

"Кажется, он точно привирает", – подумал Лука Иванович и встал с кресла.

На столе лежал сверток, ловко увязанный шнурком. Лука Иванович развернул его, освободил тетрадь из-под обертки и оглядел ее. Она была из плотной глянцевитой бумаги, сшита двухцветным шелком. Каллиграфия поражала писарским изяществом.

– Вы уж, кажется, очень стараетесь, – промолвил он в сторону Мартыныча, – да и бумага-то чересчур хороша.

Мартыныч усмехнулся в руку и, откашлявшись, выговорил:

– Материал казенный.

– Вот разве казенный, – повторил Лука Иванович и тут же спросил себя мысленно: "А сколько я ему должен? Не мало. Недаром же он меня дожидался до сей поры".

Вопрос этот таки смутил его. Он даже покраснел; по крайней мере почувствовал, как краска начала подступать ему к щекам.

– Сколько вам следует? – глухо спросил он писаря, стоя к нему боком.

– Не важная сумма, не извольте беспокоиться. Я не за этим, верьте слову. А как, собственно, генерал Крафт завтра спросят: был ли, и хоть они и не начальник мне прямой, а все нельзя их не уважать, ну и нрав у них аккуратный... Из немцев они... А тут и Анна Каранатовна пожелали книжки послушать... у меня же случилась...

– Вы – любитель? – осведомился Лука Иванович, улыбнувшись и чувствуя, как кровь у него начинает отходить от щек.

– Книжки люблю-с с малолетства больше куренья или чего прочего. Очень вот теперь хорошо пишет господин Белло.

– Кто такой? – переспросил Лука Иванович.

– Белло-с; прежде вот Дюма гремел, а теперь Белло... И заглавие всякой книжки умеет дать: "Девушка Жиро – жена моя". Ну, каждому и занятно.

Лука Иванович добродушно и тихо засмеялся. Ему вторил и Мартыныч.

– Что ж, это – хорошо! – решил Лука Иванович и слегка зевнул.

– Счастливо оставаться, – пустил тотчас же воспитанный Мартыныч. – Прощения прошу, что обеспокоил вас; а насчет писанья моего – не извольте беспокоиться: дело не к спеху.

И он так повел правой рукой от обшлага к своему собеседнику, и так ухмыльнулся широким и бледным ртом, что не трудно было понять:

"Мы-де с деньжонками, быть может, и вам ссудить придется".

Только все это – в самой безупречной форме, на какую только способен тонкий писарь.

– Благодарю вас, – выговорил очень смиренно хозяин кабинета и на поклон Мартыныча ответил уныло-приветливой улыбкой.

Мундирные пуговицы сверкнули, и ночной посетитель удалился, слегка шаркнув одной ногой.

Лука Иванович снял сюртук; но раздеваться совсем не стал, а надел только халат, серый с красным кантом, довольно-таки поживший, с закапанными рукавами и бортами.

Тихо перешел он через переднюю от своей двери к той, откуда виднелась полоска света, и не сразу вошел туда, а сначала притворил немного дверь и заглянул в комнату.

– Ты не ложишься? – почти шепотом спросил он.

– Нет еще, – откликнулся женский, еще молодой, но какой-то неряшливый голос.

Лука Иванович перешагнул порог.

Комната была побольше его кабинета, в два окна, смотрела гораздо веселее от светлых обоев с букетцами. Весь правый угол занят был кроватью с целой горой подушек. Налево, на небольшом рабочем столике, стояла дешевенькая лампа под розовым абажуром. Она бросала на все полутаинственный, полунарядный свет. Мебели было довольно: и кушетка, и шкаф, и туалет, и пьалы, и этажерочка, и комод, с разными коробочками и баночками: все это разношерстное, но не убогое. На окнах висели кисейные гардины.

У туалета сидела женщина, на вид еще очень моложавая, блондинка, с широким художественным лицом и совершенно бледными глазами, в голубенькой ситцевой "круглой блузе", какие попадаются теперь только в России. Она распускала свою косу, довольно густую и очень светлую, собираясь припрятать ее под ночной чепчик. Подняв правую руку к волосам, она слегка щурился левый глаз, и на переносице ее низковатого и сухого лба явилась недовольная морщинка.

На Луку Ивановича она взглянула немного исподлобья, равнодушным взглядом, и тотчас же губы ее оттопырились в жалостное выражение.

– Небось в клубе были? – выговорила она, глядя в другую сторону.

– Скука, – отозвался Лука Иванович и тотчас же, присаживаясь на кушетку, спросил с явственной заботой, – Настенька нынче не очень кашляла?

– Покашляла; экая важность! ничего с ней не будет – только мнительность ваша...

– Тем лучше.

– Мартыныч тут все сидел, вас дожидался.

– Ну, и насчет литературы тоже прошлись? – спросил Лука Иванович, сделав особую смешливую мину.

Блондинка чистосердечно улыбнулась и заговорила с некоторым даже оживлением, хотя все тем же тягучим, неряшливым голосом:

– Какую книжку он мне все читал: "Огненная женщина" называется! Вы не слышали?

– Как не слышать!

– А вот мне небось не принесли. Что мне в ваших журналах!.. Это, по крайней мере, так занятно, совсем все видишь: как история разыгрывается. Не мало, чай, за такие книжки денег платят?

– Говорят, автор-то замок уж себе выстроил, – все в том же смешливом тоне отозвался Лука Иванович.

– Видите, вот. А от вашего-то строченья – какая сласть?.. Сидите, сидите... то одну книжку читаете, то другую, почнете потом из угла в угол комнату межевать, а там, глядишь, первое число придет...

Она не договорила и только мотнула выразительно головой.

– Что ж делать, Аннушка, – не торопясь выговорил Лука Иванович, – таланту такого нет, как у "господина Белло-с". – Он выговорил последние слова с интонацией Мартыныча.

– Вот этого самого сочинителя и есть "Огненная женщина"! – подхватила блондинка в блузе. – Я все припомнить не могла, как его фамилия. Только до конца-то нам еще далеко... Так хочется мне знать теперь: как это она мужа своего старого изведет... А к этому идет дело... я сразу догадалась.

– Ну, и мне потом расскажи: я не читал.

– Да ведь вы все насмешничаете... как следует, от вас слова не добьешься. Оно и всегда так бывает от большого ума... кто о себе много воображает.

Лука Иванович пропустил это замечание без протеста. Он продолжал покуривать.

– Видели, бумаги-то принес Мартыныч?

– Видел.

– Небось хорошо переписаны?

– Большой мастер.

– Еще бы!.. Зато жалованья одного двенадцать рублей, квартира опять, и доходы разные от переписки – нечего и говорить, живет аккуратнo...

Она что-то не досказала. Справившись с косой и сжав немного губы, начала она опять с оттяжечкой:

– Мартыныч мне ручную машину хочет достать... говорит, на прокат можно за дешевую цену, а мне, говорит, по знакомству и совсем задаром дадут. Да это он так только, по деликатности, а с него плату возьмут. Аккуратный человек!..

Она вздохнула. Лука Иванович курил.

– Вам небось все равно, если он мне такую услугу окажет?

– Что за вопрос? – уже серьезнее откликнулся Лука Иванович.

– То-то, я так спрашиваю... Кто вас знает, вы, пожалуй, обидетесь?... такой у всех писателей нрав. А мне машинку давно хочется. Вы когда еще посулили... настоящую, в сто рублей, чтоб и ботинки тачать, а где же вам!.. Я и не требую: не такие деньги получаете.

Нижняя ее губа несколько оттопырилась. Лука Иванович опустил глаза.

– Дело возможное, – пробормотал он.

– Однако же, вот не справили и ручной... Я нешто жалуясь... Я только к слову... Благодарение Создателю, что сыта да обута, да комната есть.

Он слегка поморщился. Она это заметила.

– А мне ручная машина на руку будет. Первое дело – шутя выучусь, второе дело – детское, что понадобится, сейчас живой рукой... Мартынычу все бы за это надо хоть полтинничек в месяц; вы как думаете, Лука Иваныч?

– Разумеется!

– Хорошо это вы говорите: разумеется; а до дела коснется – и выдет один разговор. И так уж совестно... Сколько теперь он вам листов переписал? Я так мимоходом его давеча спросила...

– Ну? – с некоторой тревогой откликнулся Лука Иванович.

– Деликатный он человек, я уж вам говорила, и деликатный-то еще какой!.. А я по голосу его и по всему виду чувствую, что ему не хочется мне всю правду открывать.

Лука Иванович встал с кушетки.

– Надо ему на той неделе... – почти сконфуженно вымолвил он.

– Этакого человека обидеть недолго, Лука Иванович; ведь это его, трудовое. Только вы не подумайте, что он сам жаловаться стал – ей-богу, нет! Я насилу добилась от него ответа насчет листов, да и то небось притаил что... Вы хоть бы половину, что ли... Нужный человек...

– Хорошо, Аннушка, хорошо, – торопливо перебил он ее и запахнул свой халат, собираясь уходить. – Я вот насчет Настеньки хотел... Завтра поутру, не забудь порошок... непременно; я, пожалуй, поздно проснусь.

– Что за порошки... одна трата.

– Пожалуйста... я бы и сам, да рано не встану.

– Вот опять до петухов писать будете: а завтра начнете хныкать: голову разломит, нервы всякие...

И она глуповато рассмеялась.

– Так, пожалуйста, – повторил он, – красненький-то порошок.

– Хорошо. Чай, своя, не уморю.

Он кивнул ей головой, но руки не протянул.

– Свечи-то опять все сожжете, да и я-то засиделась... Вы бы лучше уж керосин жгли. Пойдите, в клубе-то театр был, что ли?

– Вечер.

– Вы – даром?

– Нет.

– Неужто деньги платили? А сами сказывали – скука смертная... Хоть бы для меня достали даровой билетик. Мартыныч говорит: в прикащичий во всякое время, сколько угодно могу добыть билетов... Покойной ночи!

Она зевнула и встала со стула. Дверь за Лукой Ивановичем затворилась.

## V

За письменным столом он посидел недолго, посмотрел переписанные Мартынычем листы и кое-где сделал поправки карандашом.

Под одеялом, на диване, он поворачивался не меньше часу. Спать давно была пора; но мысль забегала и туда, и сюда, захватывая по пути и прошлое, и то, что теперь висело над головой, словно петербургская болотная мгла. Новый толчок к этому беганию мысли дала женская фигура в светло-лиловом платье... Иначе и быть не могло. Лука Иванович, закрыв глаза, ясно видел все очертания пышного бюста и все даже складочки платья. Так все это и вырезалось на фоне гостиной, в какой-то особой перспективе, как оно часто бывает, когда думается о чем-нибудь с зажмуренными глазами. И тотчас после того всплыла "Аннушка", со всей обстановкой ее комнаты, в розоватом свете лампочки, с широким, плоским лицом и голубой круглой блузой. Выплыла и сразу пахнула тем, от чего Лука Иванович не может уж никуда убежать... точно в ней в этой голубой блузе сидит вся действительность, вся ее правда, вся ее поденщина... Не с ней, не с этой круглой блузой дотянул он всю свою жизнь до сегодняшней ночи; но она засадила его, быть может, навсегда в клетку, где и прежде было также не нарядно, да все-таки что-то как будто мелькало...

"Настеньке-то лекарства не дадут", – вдруг выговорил он про себя, и мысль его остановилась на дохленькой трехлетней девочке. Ведь вот она ему дорога же? Ему не хочется, чтобы ее детский кашель перешел в коклюш или во что-нибудь еще посерьезнее. Жаль ему ребенка – больше ничего. Пускай живет в сухом углу, пускай ест белый хлеб и ходит в крепких платяцах. Эта девочка доставляет ему что-то похожее иногда на семейный "очаг". Зовет она его "Юка", вместо "Лука", и это всякий раз веселит его. Она чувствует, что "Юка" – ее приятель, что от него ей никогда не достанется тукманок и окриков, как от "маньки", как она звала свою мать.

Эта девочка все, собственно, и сделала. Через нее жаль стало и мать. Лука Иванович почему-то заставил себя, поворачиваясь на кушетке, повторить, что именно "через Настеньку так все и вышло". Столкнулись они с Анной Каранатовной, как сталкиваются сотни пар в Петербурге. Ну, и ничего бы из этого не вышло, если б жалость не закралась... Одна ли жалость? Не замучила ли холостая хандра? Не заговорила ли запоздалая прыть показать, если не людям, то хоть самому себе, что он еще не так забит жизнью, что он не то, что себя одного, но и еще две человеческих "души" может прокормить. Полно, может ли?

Татьяна всхрипнула в кухне. Лука Иванович раскрыл глаза и глядел в темноту. Сердце у него явственно, физически сжималось.

"Полно, можешь ли?" – спросил еще раз невидимый собеседник. А что сейчас Аннушка говорила? Даже писарь Мартыныч солиднее тебя: обещал достать швейную машинку задаром и, наверное, достанет. Ты – его должник, с ним, с таким же поденщиком, как и ты, не можешь как следует рассчитаться... не можешь!.. У тебя в портмоне лежит одна красенькая, а ему ты больше десяти рублей должен; попробуй завтра отдать – Настеньке не на что будет красных порошков купить, и пойдешь по редакциям да по приятелям одолжаться трехрублевой бумажкой... Разве не правда?"

Вопросы были все обыкновенные, но отчего-то у Луки Ивановича выступил пот на лбу. Он откинул голову на подушку и расстегнул ворот рубашки. Ему невыносимо обидно стало от его полунищенства: оно представилось ему во всей своей унижительной пошлости и мелкой прозе. В нем сидело, как в окончательном выводе, все его прошлое, вся бесталанность его "карьеры". Он выговорил это слово, как бы дразня себя, и обратил глаза к письменному столу, уже ясно видимому в темноте, после получасового лежания. Сменялись на этом столе разные книжки и брошюры, газеты и журналы, исписано многое множество и графленой и неграфленой бумаги. За этим самым столом выучился он – шутка сказать – по-испански, и Кальдерона может без словаря читать, и статью задумал о таком испанском публицисте, о котором никто еще и не писал. Может он всякую работу взять на себя, всякую, только бы не требовали "купли-продажи" его совести... Да, признаться сказать, никто и не требовал, никому ее не нужно: малая, видно, ей цена. Пишешь – хорошо, а замолчишь – и того лучше. "Неужели оно так?" – совсем подавленный, спросил себя Лука Иванович и должен был сознаться, что "оно

так". Никто и не просил его жить для идеи, никто не собирался с ним на войну, никто даже не подряжал его для схваток с личностями, не то что с принципами. Сам он работал "поштучно". Принесет, покажет: понравится – купят, не понравится – ступай, нам не требуется. Или сидел за черновой работой по найму. Заболей – явится десяток таких же грамотных, как он. Сегодня Лука, завтра Иван или Павел. Испанского языка не надо: за глаза и английского с французским!

"Стало, по этой части у тебя – нуль, если не хочешь убаюкивать себя наивным вздором. И куда пойдешь, к кому примкнешь, от кого будешь требовать симпатии своему делу, своей идее, своему признанию? Мартыныч – и тот член корпорации; он прочно сидит на своем писарском стуле, у него обеспеченная дорога, разве сам проворуется; он не мечтает только о наградах – они придут к нему; он каждый день нужен и знает, кому жаловаться и от кого ждать поддержки. У тебя же ничего этого нет, да и быть не может".

Дальше Лука Иванович уже сам не захотел развивать свою мысль. Но приходилось все-таки сознаться, что на две лишние души "продовольствие" не было обеспечено. Следовало покончить с этим выколачиванием рублишек из поштучной работы, поставить крест на всем своем многолетнем, никому не нужном труде и идти искать тех гарантий, какие имеет же вот писарь Мартыныч. Иначе, как смотреть спокойно хоть бы на ту же Настеньку? Зачем приучать ее к себе? Зачем приучать и самого себя к каким-то точно отеческим чувствам, заботам и... затем? Все ведь это не только смешно, но и просто гадко. Опять уперся он точно в какую стену. Дальше думать в этом направлении было слишком горько.

"Хоть бы ты мог, – нашептывал все тот же невидимый собеседник, – сказать в утешение себе, что пожил на своем веку, вкусил всего, что человеческая живая душа извлекает из жизни, когда умеет. Был ли ты, хоть один раз, на пиру, смел ли требовать своей доли наслаждения... да, требовать, а не довольствоваться подачкой, объедками, насмешками случая! Брал ли ты с боя хоть что-нибудь: духовную радость, чувственное раздражение, упоение эгоизма или тщеславия?.. Привлек ли к себе хоть одну женщину, заставил ли ее сдаться, признать хоть в чем-нибудь твое превосходство?.."

Лука Иванович болезненно вздохнул. Он решительно не мог выносить больше всех этих вопросов. Не его вина, что с самых сумерек им овладело такое малодушное настроение; разве он желал, чтобы вслед за неясным, бесформенным, т. е. обыкновенным недовольством, явились такие ясные, крупные, беспощадные вопросные пункты? В нем какой-то другой Лука Иванович почти вознегодовал, перестал, наконец, прислушиваться и давать приниженные ответы, захотел принудить себя ко сну...

Этот другой Лука Иванович заснул, однако, не раньше четырех часов. Он не мог отвыкнуться от разных лиц и фигур, опять заменивших собою вопросы. То покажется Мартыныч, и из-за него выглядывает книжка в яркой обертке и слышится, как писарь произносит, точно бутылку пива откупоривает: "Господин Белло-с". То встанет во весь рост не старый еще генерал, с расчесанными, точно у кота, бакенбардами, и говорит: "все это – литературные пустяки, и нам этого не надо"... "Чего не надо?" – спрашивает его Лука Иванович и вспоминает, что он предлагал генералу перевести что-то с испанского. То десятирублевая бумажка начнет дрожать в глазах, да так ясно, и раздается голос Аннушки: "Ах, вы – сочинитель! где уж вам машину купить!" Потом все спуталось; но сна все еще не было. Всплыл последний образ, и Лука Иванович ему ужасно обрадовался. Среди яркого освещения, снова показалось светло-лиловое платье; сначала только платье, а потом курьезный жилет, кружева, фреза, шея; а там и глаза, да такие живые, горячие, радостные, что Лука Иванович встрепенулся и схватил себя за голову. И стало ему почему-то понятно, что все его томительные думы были только преддверием к этому вот заключительному образу.

Тут ему захотелось спать как следует: веки отяжелели, мозг утомился и из груди вылетел стон облегчения.

И совершенно отчетливо вымолвил он про себя:



"На углу Сергиевской... квартира..."

Имя ему не сразу досталось; но он сделал над собою усилие и припомнил.

"Квартира госпожи Патера", – закончил он.

Беспокойные часы, стучавшие в кухне своим маятником, с каким-то задорным вихлянием, проскрипели четыре.

## VI

Швейцар Петр Павлович, по фамилии Троекуров, сидел перед своей конуркой, у перил площадки первого этажа, откуда он мог, потянув шнурок, отворять и затворять дверь парадного подъезда. Он уже тридцать лет швейцарствует и собирается умереть все на том же месте. Редко входит он внутрь своей ложи, – все сидит у перил; иногда и задремлет, но больше бодрствует; то поднимет голову вверх: не спускается ли кто оттуда, чтобы дернуть за шнурок, то поглядит вниз по лестнице. Он – седой, бритый, приземистый старик, с красными жилками на щеках, в гороховой ливрее и картузе с позументом.

Часу в третьем кто-то взялся за дверь подъезда. Петр Павлович тотчас же почувствовал это, дернул за шнурок и свесил голову через перила. Фигура входившего показалась ему как будто подозрительной.

– Вам кого? – окликнул он, прищуриваясь, отчего его щеки получили презабавное выражение.

– Квартира госпожи Патера, – почти смиренно ответил Лука Иванович, опуская воротник своей шубки.

– Здесь, – откликнулся Петр Павлович, все еще со свешенной через перила головой.

– Который номер? – осведомился Лука Иванович уже на площадке.

Швейцар приподнялся со стула и добродушно ему улыбнулся, приложившись рукой к козырьку картуза.

– Во втором этаже, по правую руку... а позвольте узнать: как ваша фамилия?

Этот слегка полицейский вопрос заставил Луку Ивановича чуть не покраснеть.

– Моя фамилия? – почти стыдливо выговорил он.

– Да-с, на всякий случай, знаете, если понадобится... и адрес бы соблаговолили заодно...

У меня и книжка такая ведется.

– Моя фамилия – Присыпкин.

– Как-с? я туговат на правое-то...

Швейцар был положительно презабавный.

– Присыпкин... – повторил Лука Иванович уже обычным своим тоном.

– Какой вы губернии?

– Да я здешний, петербургский.

– Присыпкин... так вы изволили сказать?.. Таких я господ не знал. Вот Пестиковы были у нас по соседству. Опять еще Пальчиковы... большая фамилия... я разных Пальчиковых знал... А моих господ вам фамилия известна? Курыдины?.. Не слышали – ась? Я с барыней пять годов в Италии прожил... синьоре, коме ста? Изволите понимать?.. Вам, бишь, госпожу Патеру... так их нет: уехавши, уже больше часу будет.

Лука Иванович приостановился и выговорил в тон швейцару:

– Вы не изволите беспокоиться, я не к самой госпоже Патера, я к живущим у них.

– Прошу покорно, – отозвался Петр Павлович и показал рукой путь наверх.

Весь этот неожиданный разговор с швейцаром приободрил Луку Ивановича; успокоительно подействовало на него и то, что госпожи Патера не было дома, хотя он, отправляясь сегодня из дому, рассчитывал, быть может, на другое.

На доске, под стеклом, в ореховой рамке, он прочел: "Юлия Федоровна Патера" и очень скромно ткнул в пуговицу электрического звонка. Ему отворила горничная, уже не молодая, с худощавым, тонким лицом, в темном платье. Таких горничных ему еще не приводилось видеть. Он скорее принял бы ее за гувернантку, если б на ней не было темного же фартука.

– Юлия Федоровна уехала кататься, – встретила она Луку Ивановича с такой солидной развязностью, которая показывала, что она часто говорит с посетителями.

– Я, собственно, к госпоже Гуцевой.

– Дома-с, – кратко доложила горничная, и лицо ее тотчас же сделалось гораздо строже.

– Доложите: Присыпкин, Лука Иваныч.

– Пожалуйте сюда, – указала горничная вправо, а сама пошла налево неторопливым шагом. Она было хотела помочь гостю снять шубу; но он ее до этого не допустил.

Лука Иванович, приподняв тяжелую портьеру, очутился в салоне, несколько темноватом и тесном, набитом всякой мебелью, растениями, лампами, трельяжами и занавесками. Душно в нем было от разных запахов. В камине каменный уголь тлел и потрескивал. От него шла раздражающая теплота.

Лука Иванович не успел хорошенько осмотреться, как его имя произнес сзади знакомый ему голос:

– Ах, как вы великодушны! – заговорила вчерашняя посетительница клуба, все с той же прической, но в длинной домашней мантилье, сажая его на диван, где ему оказалось очень неловко.

– Чем же так? – спросил он.

– Как же, помилуйте, посетили меня, и так скоро...

Она протянула ему руку и придержала ее. Лука Иванович опять почувствовал в этой горячей руке нервное какое-то дрожание и поглядел в лицо своей собеседнице. Лицо было красно, точно его изнутри подогревали. Глаза, окруженные большими веками, тревожно вспыхивали. Во всем ее тощем теле ясно было напряжение, передававшееся физически в рукопожатии.

– Вы работали? – спросил Лука Иванович, отнимая руку. – Я это вижу по лицу вашему.

– Почему так?

– Возбуждены уж очень: сейчас видно, что сочинительством занимались.

– Как вы это выговорили: "сочинительством".

– Да очень просто.

– Не знаю. Я давно хотела вам сказать, Лука Иванович, что я вашему скептицизму не верю.

Она повела головой так странно, что он усмехнулся. Тем временем он продолжал ее рассматривать, насколько это можно было на таком близком расстоянии. Во второй раз ему стало ее жаль, и смеяться он над ней не мог; но и серьезно с ней беседовать тоже затруднялся. Его трогала ее искренность, какой-то внутренний огонек, цельность... В себе самом ничего этого он не чувствовал, по крайней мере, в ту минуту.

– Обо мне что же толковать, – выговорил он.

– Помилуйте, мы с вами – товарищи, – возразила она с дрожью в голосе, – мы боремся с одним оружием в руках.

– Полноте... – начал было он, но удержался.

– Право, Лука Иваныч, – вскричала она, запахиваясь в свою мантилью, хотя в комнате было не меньше семнадцати градусов по Реомюру, – так нельзя жить!.. без солидарности мы все пропали!

"Да вы о чем это?" – хотел было он спросить и опять воздержался.

– Я вот сейчас писала именно на эту тему... Я вложила эти слова в уста женщины. Вы можете мне посвятить полчаса?

– Сколько прикажете.

– Так я сейчас принесу... это всего три-четыре страницы. Я не буду злоупотреблять вашим снисхождением.

– Пожалуйста, злоупотребляйте. Право, очень приятно видеть, что в вас есть этот... священный огонь.

Она уже поднялась и хотела выйти из гостиной, но приостановилась.

– Какой у вас тон, Лука Иванович! вы точно смеетесь над тем делом, которому сами служите...

– Полноте, полноте, я так. Каждый из нас желал бы иметь этот самый огонек.

Он не договорил и, протянув ей руку приятельским жестом, добавил:

– Сделайте милость, будьте со мной попросту.

Девушка Гущева стала еще краснее, кивнула головой и торопливо вышла. Лука Иванович проводил ее глазами до портьера. Когда она скрылась, он улыбнулся, не то, чтобы злостно, но и не совсем безобидно.

Его собеседница давно казалась ему несколько странной особой; никогда не мог он, при встречах с нею, взглянуть на нее совершенно серьезно; но почему же на этот раз ему сделалось бы жалко, на особенный лад? Не предстала ли перед ним его собственная житейская дорога, его серенькое сочинительство, только находящееся в состоянии наивного пыла?

"И не все ли равно, – подумал Лука Иванович, дожидаясь возвращения девушки Гущевой, – какие там слова она вложит в уста своей героини? Никому из нас от этого легче не будет".

Его мысль пошла бы дальше по тому же направлению, если б шорох портьера справа не заставил его обернуться и даже привстать.

## VII

Свежим воздухом пахнула на него вошедшая в гостиную та самая женщина, в лиловом платье, которая поразила его накануне. Только тут она была одета в зимнее пальто с опушкой, в виде мужского полушубка. Бархатная шапочка с околышем слегка прикрывала голову.

Лука Иванович пришел в такое смущение, что даже схватился за шапку. Но это было только на одно мгновение. С ним заговорили и не дали ему предаваться дальнейшему малодушию.

– Вы к Елене? – спросила она весело, оглядывая его и громко дыша. Щеки ее так и пылали. Над большими серыми глазами довольно резко выступали очень густые брови. Крупная верхняя губа заметно оттенена была пушком.

– Да-с, – проговорил Лука Иванович и положил опять шапку на диван.

– Вы ее видели?.. Ах, извините, я вас не прошу садиться! Пожалуйста.

Она сама села, но так, как садятся на пути. Сел и Лука Иванович, уткнувши обе ладони между колен.

– Или она еще не выходила, так я пойду ей сказать?

– Ваша кухня сейчас придет, мы с ней виделись, – выговорил он уже солиднее.

– А вы знаете, кто она – моя кухня?.. Значит, мне не нужно вам представляться... Я очень рада, что вы посетили Елену. Вы, может быть, мне не верите, что Елена, точно нарочно, не хочет меня знакомить ни с одним писателем.

– Да оно, может, и лучше.

– Почему же? Это, должно быть, очень забавно? Только вы вот увидите, она придет и надуется. Ей неприятно будет, что я помешала ее авторским... confidences<sup>3</sup>. А ведь она пресчастливая, не правда ли?

---

<sup>3</sup> Здесь: откровениям (*фр.*).

Лука Иванович, совсем прибодрившись, ответил с улыбкой:

– Пожалуй, и так.

– Пресчастливая! Ночей не спит; а днем все ходит из угла в угол и на кусочках бумажки все записывает, все записывает. Лицо у ней так и горит. Руки дрожат в нервной ажитации. Все у ней назревает, назревает сюжет, а потом вдруг начнет метаться, когда ей что-нибудь не дается. Мучится, бедная, вся позеленеет. Зато как рада, когда у ней все это прояснится. И тогда пишет, как я говорю, запоем! Скажите, разве она не счастливая?

Вопрос этот вылетел так же стремительно, как и все предыдущие фразы. Но когда Лука Иванович взглянул на говорившую, он тотчас же заметил резкий контраст между этими пышущими щеками и почти убитым взглядом, ни на что не глядевшим.

– Вы ей, стало, завидуете? – спросил он совершенно серьезно.

– Да, – послышалось в ответ, в сопровождении весьма явственного вздоха.

С большой тетрадь в руках вернулась знакомая Луки Ивановича и, как только увидела свою кухню, заметно съехала и припрятала даже тетрадь под мантилью.

– Я вам мешать не стану, – заговорила ее кухня, вставая. – Пожалуйста, Елена, не сердись на меня: я бы не приехала домой так скоро, да погода испортилась. Гостиная к твоим услугам. Я переоденусь и уеду. Только, вот видишь, судьба тебя и наказала: я без твоей рекомендации познакомилась с настоящим писателем. – Обернувшись в сторону Луки Ивановича, она прибавила:

– Вы – мой гость. Дней у меня нет, но я всегда бываю дома...

– Когда не выезжаешь, – заметила девица Гущева, – а пропадаешь ты по целым дням.

– Вот видите, какая она язвительная, – рассмеялась кухня. – Говорят, кто счастлив – тот добр, а кто счастливее Елены – и такая злая!

Не дожидаясь ответа, она очень ласково поклонилась гостю и бойкой молодой походкой вышла из гостиной.

– Вы познакомились? – спросила девица Гущева, как будто с смущением.

– Поговорили.

– И как же нашли мою кухню?

– Да, мне кажется, жизни в ней больше, чем...

– Чем в ком?

– Да не в обиду будь сказано, нас вот с вами взять, хоть вы и храните в себе священный огонь. Таково уж, видно, звание наше! А кухня ваша пришла на несколько минут, – и свежим воздухом запахло. Вы извините, я вам так откровенно говорю... по-товарищески.

– Конечно, конечно, я и не думаю обижаться.

– Зачем же обижаться? Вы меня спросили о моем впечатлении, я вам и сказал его.

– А знаете ли, Лука Иваныч, что я вам скажу про живую натуру, какую вы считаете мою кухню? Она ведь совсем не то, чем вам показалась.

– Быть может. Я – не романист, но если вы и правы...

Он остановился и спросил:

– Как вас звать? научите, пожалуйста.

– Елена Ильинишна, – с некоторым нетерпением назвала девица Гущева.

– Так вот, Елена Ильинишна, как я думаю: если б даже ваша кухня была и совсем другой женщиной, – и то хорошо, что она обманывает, так сказать, своей жизненностью. Это не всякому дается.

Елена Ильинишна пододвинула к нему кресло и стала говорить тише:

– Я бы очень рада была, чтобы Юлия поближе познакомилась с вами, но вряд ли она способна на беседу с серьезным человеком... не хочу злословить, да она и позволяет говорить себе в глаза правду.

– Ах, Елена Ильинишна, не довольно ли серьезных-то бесед. Этак глядишь – и прожита жизнь в нестерпимой скуке.

Он даже махнул рукой. Этот жест заставил Елену Ильинишну опустить глаза и принять огорченное выражение.

– Право, – заговорила она не то обиженным, не то просительным тоном, – мне не хочется вас беспокоить и читать вам: вы совсем не в таком настроении.

Ему очень захотелось успокоить ее и заставить прочесть со вкусом отрывок, но у него что-то не достало на это умения. Елена Ильинишна сидела в съезженной позе, обдергивая свою мантилью, из-под которой торчал сверток.

– Начните, – выговорил он наконец.

– Нет уж, я в другой раз, теперь нам могут опять помешать.

И точно, в гостиную вошла кухня, очень скоро переменившая свой туалет.

– Вы еще не читаете? – спросила она громко.

– А почему ты думаешь, что мы собрались читать? – тревожно возразила Елена Ильинишна.

– Вот у тебя манускрипт в руках.

Она сделала такое движение головой, что Лука Иванович невольно усмехнулся.

– Пожалуйста, – обратилась к нему кухня, – успокойте ее. У ней все бесконечные сомнения. Я уже вам говорила, что она ночей не спит над одним словом.

– Как же это ты успела? – почти сконфуженно выговорила Елена Ильинишна.

– И еще много кой-чего. Сердись – не сердись, Елена! Ведь я за себя хлопочу. Я тебя успокоить не могу. Ты моему вкусу не веришь. Чем скорее будет чтение, тем для меня лучше.

– Лука Иванович не может же посвятить мне целый день.

– Ты хочешь сказать, что я вам мешаю? извини, пожалуйста, я сейчас скроюсь. А вы, – обратилась она к Луке Ивановичу, – не кончайте в один сеанс, а когда захочется отдохнуть от литературы, поболтаем... только без Елены; а то она сейчас скажет, что в нашем разговоре нет интеллигентного содержания.

Елена Ильинишна улыбнулась. Ее напряженность несколько прошла от смелой болтовни кухни. Луке Ивановичу опять сделалось веселее с той минуты, как эта пышущая здоровьем и бойкостью женщина появилась в гостиную. Если б он сумел, он бы задержал ее; но он не сумел этого и с унынием подумал о целой тетради, которою собиралась угостить его девица Гущева.

– До свидания, – кивнула ему кухня с той же улыбкой, с которой она оставила их в первый раз. – Обедать меня не жди, Елена; вы можете хоть целый день читать. Ты знаешь, куда я еду?

– Кто ж это может знать? – отозвалась уже добродушнее Елена Ильинишна.

– К тетушке Вилковой: там каждый месяц собирается фамильный синклит, я на них навожу священный ужас.

– Почему же так? – позволил себе спросить Лука Иванович.

– Право, они на меня смотрят, как на какого-то зверя из Апокалипсиса. Надо видеть, какой это мир, чтобы судить о впечатлении...

– Ты там до вечера?

– Да, заеду только переодеться – и прямо в купеческий!

– Ах, Юлия, ты вчера легла в седьмом часу утра!

– Что ж такое? у меня такие красные щеки, что надо же им как-нибудь побледнеть.

– И то сказать, – заметила Елена Ильинишна и пожала плечами.

"Вот-вот сейчас уйдет; а жаль", – подумал Лука Иванович, слушая весь этот странный для него разговор, в котором бы ему хотелось принять участие, но не в присутствии девицы Гущевой.

Когда он приподнял голову, кухни уже не было. Он даже не заметил, в каком она платье. На него уставились вопросительные глаза Елены Ильинишны, говорившие совсем о другой материи.

## VIII

Литературное чтение не удалось. Лука Иванович старался быть как можно мягче и благодушнее, но его тон почему-то неприятно волновал романистку. Она начала не то что придираться к нему, но задавать разные такие вопросы, на которые он затруднялся отвечать. Он очень просто заметил ей в одном месте, что можно бы совсем выкинуть подробности, которые автор, как девица, вряд ли изучил. Елена Ильинишна просто разогорчилась, так что Лука Иванович должен был долго ее успокаивать. Говорить ей настоящую правду он окончательно отказался, видя, как она болезненно тревожна. Она слишком верила в свое призвание, слишком «священнодействовала», как он заметил про себя. Некоторая наблюдательность у ней была и языком она владела; но замыслы ее отзывались «книжкой»; рассуждений и разговоров было слишком много и в том, что он прежде читал, и в новой ее вещи. А про наивности и говорить было нечего. Если б Лука Иванович высказал ей все это тут же, беседа кончилась бы, пожалуй, слезами. К этому исходу и без того клонило дело.

– Вы хоть не ко мне зайдите, – сказала ему на прощание нервная девица. – Кухня вас заинтересовала.

И так она это выговорила, что он, чуть не с озорством, ответил:

– Зайду; поклонитесь вашей кухне!

Когда он спускался с лестницы, его окликнул швейцар, Петр Павлович:

– Желаю вам всякого зла, – крикнул он, стоя у перил.

Лука Иванович поднял голову и удивленно обернулся.

– Избежать! – добавил старик успокоительно.

Эту прибаутку проделывал он аккуратно с каждым новым лицом.

На улице Лука Иванович, с улыбкой, вызванной чудачеством швейцара, остановился и сообразил, в какую сторону ему взять. Погода испортилась. Пошел опять мокрый снег. Извозчика он, однако, не взял – не на что было. Вчерашнюю десятирублевую бумажку он оставил на расход, уходя из дому. Ему стало вдруг и больно, и обидно, и рассердился он на себя за то, что мог больше часу пустословить в квартире г-жи Патера, когда ему прежде всего следовало бы найти те двадцать пять рублей, которые ему были до зарезу нужны. Не мог же он забыть, с какой мыслью вышел сегодня из дому. Эта бесконечная нужда в красненьких и лиловеньких бумажках переполнила чашу. Так безысходно перебиваться показалось ему невыносимо-унизительным и просто "подлым", как он сам выразился.

Часов у него тоже не было; но он сообразил, что не может быть позднее половины четвертого.

Ровно в четыре часа он звонил у своего приятеля, Николая Петровича Проскудина. Звонил он на авось. Проскудин был адвокат и в эти часы находился обыкновенно в окружном суде. Всего чаще сталкивались они с ним в обеденное время в трактире «*Старый Пекин*», или, как называл его Лука Иванович, «*Вье Пекин*», где они долго толковали всегда по послеобедам.

Проскудин оказался, однако, дома. Это был приземистый мальчик, таких лет, как Лука Иванович, т. е. сильно за тридцать, с круглой белокурой бородой, с пухлым лицом и довольно большой, блестящей лысиной. Глаза его шурились и часто смеялись. Он сам отворил гостю.

– В форме? – спросил Лука Иванович, подавая ему руку и указывая на фрак Проскудина со значком.

– Да, уж покляузничал немножко, – ответил тот жидким, несколько дребезжащим голосом.

– По какому отделению?

– Я ведь уголовными теперь не занимаюсь: я только кляузами.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.